

Роза Люксембург

В. Короленко



Роза Люксембург В. Короленко

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22099209

Аннотация

«„Моя душа, принадлежавшая трем национальностям, нашла, наконец, свою родину; то была прежде всего русская литература“, говорит Короленко в своих воспоминаниях. История же этой литературы, которая сделалась для Короленко отечеством, родиной и родной национальностью – так же, как он сам составляет украшение ее, – представляет единственное в своем роде явление...»

Содержание

1	4
2	25
3	34
4	50

Роза Люксембург

В. Короленко

(По поводу «Истории моего современника»).

1

«Моя душа, принадлежавшая трем национальностям, нашла, наконец, свою родину; то была прежде всего русская литература», говорит Короленко в своих воспоминаниях. История же этой литературы, которая сделалась для Короленко отечеством, родиной и родной национальностью – так же, как он сам составляет украшение ее, – представляет единственное в своем роде явление.

В течение многих столетий, на протяжении средних веков и новой истории до последней трети восемнадцатого века, в России царил мрачная ночь, кладбищенская тишина, варварство. Не существовало ни образованного литературного языка, ни собственного стихосложения, ни какой-либо научной литературы, ни книжной торговли, ни библиотек, ни журналов; не было никаких центров духовной жизни. Гольфстрем Возрождения, омывший берега всех европей-

ских стран, создавая в них точно волшебной силой цветущий сад мировой литературы, встряхнувшие мир бури Реформации, пламенное дыхание философии восемнадцатого века – все это пронеслось, не затронув Россию. Царская империя еще не обладала никакими органами для уловления световых лучей западной культуры; не было вспаханной духовной почвы, на которой могли бы возрасти зародыши этой культуры. Очень немногочисленные литературные памятники тех времен производят теперь своим странным уродством такое же впечатление как произведения искусства Соломоновых островов или Новых Гебрид; между ними и искусством Запада не существует, по-видимому, никакого духовного родства, никакой внутренней связи.

А затем произошло нечто вроде чуда. После нескольких робких попыток создать национальное духовное движение в конце восемнадцатого века, наполеоновские войны зажгли, как молния, духовную жизнь России. Это вызвано было, с одной стороны, глубочайшим поражением России, впервые пробудившим национальное самосознание в царской империи, а затем победами коалиции: русская интеллигентная молодежь проникла в результате этих побед на Запад, в Париж, в сердце европейской культуры и пришла в соприкосновение с новым миром.

Точно в одну ночь расцвела вдруг русская литература, и предстала перед миром завершенная, в сверкающем вооружении, точно Минерва, вышедшая из головы Юпитера.

ра, являя самобытную национальную художественную форму, язык, совмещающий благозвучие итальянского с мужественной силой английского и благородством, как и глубоко-мыслием немецкого, бьющее через край богатство талантов, сверкающей красоты, мыслей и ощущений.

Длинная темная ночь, кладбищенская тишина была только кажущейся, только обманом зрения. Лучи света, проникавшие с Запада, сохранились в виде сокрытой силы, зародыши культуры ждали в земле благоприятного момента, чтобы пустить ростки. Русская литература выступила сразу, как бесспорный член европейской литературы; в жилах ее текла кровь Данте, Раблэ, Шекспира, Байрона, Лессинга, Гете. Она нагнала львиным прыжком пропущенное за сто лет и вступила равноправным членом в семейный круг западной литературы.

До чего изумителен такой ритм в истории русской литературы и какую изумительную аналогию с ним представляет новейшее политическое движение России! Это, действительно, способно сбить с толку некоторых наивных доктринеров.

Самое характерное в столь внезапно возникшей русской литературе то, что она порождена была оппозицией против существовавшего строя, проникнута была боевым духом. Это было ее отличительным знаком в течение всего девятнадцатого века. Этим и объясняется богатство и глубина ее духовного содержания, завершенность и своеобразность

ее художественной формы и в особенности ее творческая и движущая общественная сила. Ни в какой другой стране и ни в какую другую эпоху литература не была такой общественной силой, как русская литература в эпоху царизма, и она оставалась на этом своем посту в течение целого века, пока ее не сменила реальная сила народных масс, пока слово не претворилось в плоть. Литература, художественная литература, завоевала в полуазиатской деспотической стране место в мировой культуре, пробила китайскую стену, воздвигнутую абсолютизмом, перекинула мост на Запад, и явилась туда не только с тем, чтобы брать, но и чтобы давать, не только ученицей, но и учительницей. Достаточно назвать только три имени: Толстой, Гоголь, Достоевский.

В своих воспоминаниях Короленко характеризует своего отца, чиновника крепостного времени в России, как типичного представителя психологии честных людей того поколения. Отец Короленко чувствовал себя ответственным только за свои личные поступки. Мучительное чувство ответственности за общественное зло было ему чуждо. «Бог, царь и закон» стояли в его глазах выше всякой критики. В качестве окружного судьи он считал себя призванным только к тому, чтобы применять законы с величайшей добросовестностью.

Для поколения 40-х и 50-х годов общественные условия, как целое, относились к области стихийного, незыблемого. Не знавшая сопротивления среда умела только гнуться под карающими ударами властей, – как под напором вихря, вы-

жида, когда пройдет непогода, надеясь, что она пройдет. Да, – говорит Короленко, – это было цельное настроение, род устойчивого равновесия совести. Внутренние их устои и не колебались анализом, и честные люди того времени не знали глубокого душевного разлада, вытекающего из сознания личной ответственности за «весь порядок вещей». Только такое мирозерцание является, по его мнению, подлинной основой правления божьей милостью, – только пока еще неизбежно держится такое мирозерцание – велика и сила абсолютизма.

Было бы ошибкой считать обрисованную Короленко в таких чертах психологию исключительно русской или непременно связанной с порой крепостничества. И при самых разнообразных политических и социальных формах правления может существовать такое настроение общества, чуждое грызущего самоанализа и внутреннего раздвоения, когда люди ощущают «установленную богом зависимость», как нечто стихийное, и приемлют исторические условия, как решения небесной воли, за которые люди столь же неответственны, как за то, что молния убивает иногда невинного ребенка. Такое настроение наблюдается даже и при современных условиях; особенно же полно дало оно себя знать в психологии немецкого общества в течение всего времени мировой войны.

В России такое «незыблемое равновесие совести» стало расшатываться в широких кругах интеллигенции уже в ше-

стидесятых годах. Короленко очень наглядно изображает духовный переворот русского общества того времени и показывает, как именно его поколение преодолело «крепостническую» психологию и охвачено было новым течением. «Особенностью этого течения и был разъедающий, мучительный, но вместе с тем и творческий дух общественной ответственности».

Пробуждение в русском обществе высокого гражданского духа, подточившего глубочайшие психологические корни абсолютизма, является заслугой русской литературы. Она со своей стороны никогда, с самого начала своей деятельности, с начала девятнадцатого столетия, не отрекалась от общественной ответственности, не забывала разъедающий, мучительный дух общественной критики.

С той поры, когда она в лице Пушкина и Лермонтова развернула с неподражаемым блеском свое знамя перед обществом, русская литература считала своим основным жизненным принципом борьбу против тьмы, некультурности и гнета. Она сотрясала с отчаянной силой общественные политические оковы, натирала себе раны о них и честно уплачивала цену битв кровью своего сердца.

Ни в какой другой стране не наблюдается такой поразительной краткости жизни самых выдающихся писателей, как в России. Они умирали и чахли дюжинами в цветущем, почти в юношеском возрасте, в 25, 27 лет, или, в лучшем случае, едва переступали за предел 40 лет и умирали на висе-

лице, были жертвами прямого или прикрытого дуэлью самоубийства, погибали от сумасшествия, от преждевременного истощения. Благородный певец свободы Рылеев был казнен в 1826 году, как вождь декабристов. Пушкин и Лермонтов, гениальные творцы русской поэзии, погибли оба на дуэли, и жертвами ранней смерти был весь их круг расцветающих талантов, как, например, основатель литературной критики и поборник гегельянства в России, Белинский, так же как Добролюбов. Ранней смертью умер превосходный, нежный поэт – Кольцов (многие его песни выросли, как одичавшие садовые цветы в русскую народную поэзию), а также творец русской комедии – Грибоедов и выше его стоящий, преемник его, Гоголь. Рано умерли в более близкое к нам время два блестящих беллетриста: Гаршин и Чехов. Другие томилась десятки лет в тюрьме, на каторге, в ссылке – как основатель русской журналистики Новиков, как вождь декабристов Бестужев, князь Одоевский, Александр Герцен, как Достоевский, Чернышевский, Шевченко, Короленко.

Тургенев сказал как-то, что он впервые в жизни наслаждался полностью пением жаворонка, услышав его где-то под Берлином. Это мимолетное замечание кажется мне очень характерным. Жаворонки поют в России столь же прекрасно, как и в Германии. Огромная русская империя таит в себе так много красот и столь разнообразных, что всякая чуткая, поэтичная душа находит на каждом шагу случай всецело отдаться наслаждению природой. Но Тургенев не мог безмятежно

сохранять красоту природы у себя на родине. Ему мешал мучительный разлад общественной жизни, мешало постоянное тягостное чувство ответственности за вопиющие общественные и политические условия, – то неотступно гложущее чувство, которое не допускает ни минуты самозабвения. Лишь за границей, когда тысячи гнетущих картин его родины остались позади и он очутился в условиях чуждой ему страны, – а благоустроенная внешность и материальная культура Запада издавна вызвали наивное преклонение у русских, – русский художник смог беззаботно, полной грудью насладиться природой.

Было бы однако величайшей ошибкой думать, что русская литература проникнута вследствие этого грубой тенденциозностью и представляет собой сплошной трубный глас о свободе, что она посвятила себя только изображению жизни бедняков, а тем более, что все русские писатели – революционеры или, по меньшей мере, прогрессисты. Такие клички, как «реакционер» или «прогрессист», вообще не имеют значения в искусстве.

Достоевский в своих позднейших произведениях – определенный реакционер, поэтически настроенный мистик и ненавистник социалистов. Его изображения русских революционеров – злые карикатуры. Мистическое учение Толстого тоже по меньшей мере отсвечивает реакционностью. И все же произведения и того и другого действуют на нас возвышающим образом, поднимают и освобождают наш дух.

Это объясняется тем, что основа их творчества, то, из чего они исходят, не реакционна. Их мыслями и чувствами владеет не социальная ненависть, не узкосердечие и сословный эгоизм, не приверженность к существующему, а, напротив того, самая широкая любовь к человечеству и глубочайшее чувство ответственности за общественную несправедливость. Именно реакционер Достоевский сделался в художественной литературе защитником «униженных и оскорбленных», как гласит заглавие одного его произведения. Только самые выводы, к которым пришли и он, и Толстой – каждый своим особым путем, только то, что они считают выходом из лабиринта общественных отношений, ведет в тупик мистики и аскетизма. Но у истинного художника предлагаемые им общественные рецепты имеют лишь второстепенное значение. Главный источник его творчества, вдохновляющий его дух, а не сознательная цель, которую он себе ставит.

В русской литературе обнаруживается также, хотя и в значительно меньших размерах, направление, которое выдвигает вместо глубоких мировых идей Толстого или Достоевского более скромные идеалы: материальную культуру, современный прогресс, гражданские добродетели. К самым талантливым представителям этого направления принадлежат из прежних поколений – Гончаров, из более молодого – Чехов. Последний даже из духа сопротивления против аскетической морали Толстого выступил в свое время с весьма ха-

рактурным утверждением, что пар и электричество содержат в себе больше человеколюбия, чем целомудрие и вегетарианство. Но и это трезвенное «культуртрегерство» проникнуто в России, в противоположность произведениям французских или немецких изобразителей *juste milieu*, не сытым мещанством и пошлостью, а молодым мятежным стремлением к культуре, к проявлению личного достоинства и инициативы. Гончаров, например, создал в своем «Обломове» образ ленивца, достойный места в галерее великих художественных типов, имеющих общечеловеческое значение.

В русской литературе имеются, наконец, и представители декадентства. К таковым следует причислить и одного из самых блестящих писателей Горьковского поколения, Леонида Андреева; от его творчества веет наводящим ужас могильным тленом, дыхание которого душит всякую жизненную силу. Но корни и сущность этого русского декаданса диаметрально противоположны декадентству Бодлера или д'Аннунцио. В основе настроений этих западных декадентов лежит только пресыщение современной культурой, очень утонченной по форме, но в корне весьма жизнеспособный эгоизм, который не находит себе удовлетворения в нормальном существовании и поэтому прибегает к ядовитым средствам возбуждения. У Андреева же безнадежность вытекает из душевных мук, порожденных напором гнетущих общественных условий. Андреев, как и все лучшие русские писатели, заглянул в многообразные глубины человеческих стра-

даний. Он пережил японскую войну, первый период революции, ужасы контрреволюции 1907–1911 годов и изобразил свои переживания в потрясающих картинах в «Красном смехе», «Рассказе о семи повешенных» и других. И теперь на нем повторяется судьба его «Лазаря», который вернулся с берегов царства теней, не может преодолеть дыхания могилы и блуждает среди живых, как «недоеденный смертью кусок». Происхождение его декадентства типично русское: оно порождено избытком общественного сострадания, убивающей действительность и силу сопротивления отдельной личности.

Общественное сострадание составляет особенность и художественное величие русской литературы. Трогать и потрясать может лишь тот, кто сам растроган и потрясен. Талант и гений, конечно, в каждом отдельном случае «дар Божий». Но одного только, даже самого большого таланта мало, чтобы оказывать глубокое влияние на умы. Никто не станет отрицать таланта и даже гения у аббата Монти, который воспевал дантовскими терцинами то убийство посланника французской революции римской чернью, то победы этой самой революции, то австрийцев, то директорию, то, убегая от русских, безумного Суворова, то потом опять Наполеона и опять императора Франца, разливаясь каждый раз соловьиным пеньем прямо над ухом победителя. Никто не станет отрицать и большого таланта Сент-Бева, творца критических этюдов, как особого рода литературы, но блестящее перо его служило попеременно почти всем политическим партиям во

Франции, и он сжигал сегодня то, чему поклонялся вчера, и наоборот.

Для прочного воздействия на умы, для истинно воспитательного влияния на общество нужно более чем только талант: нужна поэтическая самобытность, характер, индивидуальность, укрепленные на твердой основе завершенного широкого мирозерцания. Такое мирозерцание и обострило чуткую общественную совесть русской литературы, ее проникновение в психологию различных характеров, типов, общественных положений. Болезненно трепещущая жалость русских писателей обогатила их описания сверкающим блеском красок, их стремление вдумываться в общественные загадки научило их охватывать художественным взором цельность общественного строя во всем его величии и внутренних взаимоотношениях и воссоздавать ее в мощных произведениях.

Убийства и преступления совершаются каждый день и всюду. «Парикмахерский подмастерье Икс убил и ограбил рентьершу Игрек. Уголовный суд в Ц. приговорил его к смерти». Такие сообщения в три строки «из провинций» все читают по утрам в газете. Равнодушно пробегая их взором, ищут дальше последних известий о скачках или театральный репертуар на ближайшую неделю. Кто кроме уголовной полиции, прокуратуры и статистиков интересуется случаями убийств? Разве только авторы уголовных романов и сценариев для кинематографа.

Достоевский потрясен до глубины души самим фактом, что один человек может убить другого, что это может случиться в любой день около нас, среди нашей «цивилизации», стена об стену с нашим обывательским мирным существованием. Как для Гамлета с преступлением его матери распалась связь вселенной и рушились основы мира, так и для Достоевского из-за факта, что человек в состоянии убить человека. Он не находит покоя, он чувствует ответственность, которая тяготеет на нем, как и на каждом из нас, за этот ужас. Он ощущает необходимость выяснить себе психологию убийцы, проникнуть в тайну его страданий, его мук, в самые сокровенные уголки его сердца. Он изведал всю эту пытку, и его ослепило страшное прозрение: убийца – самая несчастнейшая жертва общества. Тогда Достоевский бьет громовым голосом тревогу, пробуждает нас от тупого равнодушия культурного эгоизма, препровождающего убийцу уголовному следователю, прокурору, а затем палачу или на каторгу, и считающего, что этим все сделано. Достоевский заставляет нас пережить всю муку убийцы и бросает нас наземь уничтоженными: кто прочувствовал душой, как свое переживание, его Раскольников, или допрос Дмитрия Карамазова в ночь после убийства его отца, или «Записки из мертвого дома», тот никогда больше не вернется, как улитка, в скорлупу мещанства и самодовольного эгоизма. Романы Достоевского самые страшные обвинения, брошенные в лицо буржуазному обществу: истинный убийца, убийца че-

ловеческих душ, это ты.

Никто не умеет так жестоко, как Достоевский, мстить обществу за его преступления против отдельной личности, так утонченно пытаться его. Это особый талант Достоевского. Но и все другие лучшие представители русской литературы видят в убийстве обвинение против существующих условий, преступление против убийцы, как человека, и считают, что мы все – каждый в отдельности – ответственны за это преступление. Поэтому величайшие таланты постоянно возвращаются точно загнивающие к проблеме уголовного убийства, и воссоздают его перед нашими взорами в совершеннейших художественных произведениях, чтобы вывести нас этим из равнодушного спокойствия. Это делает Толстой во «Власти тьмы» и «Воскресении», Горький – в пьесе «На дне» и «Трое», Короленко – в «Лес шумит» и в изумительном сибирском рассказе «Убийца».

Проституция настолько же специфически русское явление, как туберкулез; она скорее наиболее международный институт общественной жизни. Особенность заключается лишь в том, что хотя она играет в современной жизни почти господствующую роль, официально, в духе условной лжи, она не считается нормальным элементом общественного строя, а рассматривается, как нечто стоящее за пределами общественности, как отброс общественности. Русская литература изображает проститутку не в пикантном стиле будущего романа, не с плаксивой сентиментальностью тенден-

циозных книжек, но и не таинственным лютым зверем Ведында наподобие «Духа земли».

Ни в одной литературе мира нет описаний, проникнутых более жестоким реализмом, чем грандиозная сцена оргии в «Карамазовых» или «Воскресенье» Толстого. Но русский писатель видит в проститутке все же не «падшую женщину», а человека, психология, страдания и внутренняя борьба которого требуют сочувствия. Проститутка облагорожена в произведениях русских писателей и получает нравственное удовлетворение за совершенное над нею преступление общества: она оспаривает в русских романах любовь мужчины у самых нежных и чистых женщин. Русский писатель венчает ее главу розами и возводит ее, как баядерку Махадэ, из ада развращенности и душевных мук на высоту нравственной чистоты и женского подвижничества.

Но не только яркие обособленные явления на сером фоне будничной жизни, но и самая эта жизнь, средний человек и его жалкое существование, привлекают обостренный в общественном отношении взор русской литературы. «Человеческое счастье, – говорит Короленко в одном своем рассказе, – честное человеческое счастье имеет для души что-то целительное и бодрящее. И я всегда думаю, знаете ли, что люди в сущности обязаны быть счастливыми». В другом рассказе, озаглавленном «Парадокс», он вкладывает в уста безрукому от рождения калеке слова: «Человек создан для счастья, как птица для летания». В устах жалкого уроды такое изре-

чение – явный «парадокс». Но для тысяч и миллионов людей столь же парадоксальны слова о «призвании к счастью» – и не вследствие случайных физических недостатков, а в результате общественных условий.

В замечании Короленко заключается действительно нечто весьма важное в смысле общественной гигиены: счастье оздоравливает и очищает людей в духовном отношении, подобно тому, как солнечный свет над открытым озером самым действительным образом обеззараживает воду. Это вместе с тем значит, что при ненормальных общественных условиях, а по существу все условия, построенные на социальном неравенстве, ненормальны – самые разнообразные душевные увечья должны стать обычным массовым явлением. Когда в общественной жизни прочно утверждается угнетение, произвол, несправедливость, и распределение труда таково, что ведет к односторонней специализации, то это создает людям определенный духовный облик, и притом на обоих полюсах угнетатель, как и угнетенный, тиран, как и льстец, хвастливый богач, как и паразит, бездушный карьерист, как и лентяй, педант и шут в одинаковой степени – создания и жертвы условий своего существования.

Именно эти своеобразные психологические отклонения от нормы, так сказать рост человеческой души, искривленный под влиянием обыденных общественных условий, изображены у Гоголя, Достоевского, Гончарова, Салтыкова, Успенского, Чехова и других с истинно Бальзаковской силой. Тра-

гедия обыденности самого заурядного человека, как ее изобразил Толстой в «Смерти Ивана Ильича», единственная в своем роде во всемирной литературе.

В русской литературе проявляется также интерес к особой категории мелких плутов, людей без определенного призвания, неспособных к определенному заработку, мечущихся между прихлебательством и от времени до времени столкновениями с уголовным уложением и составляющих отбросы буржуазного общества. На Западе общество отгоняет их от своего порога категорическими надписями: «нищим, разносчикам, бродячим музыкантам вход запрещается». К такого рода типам, к которым принадлежит и отставной чиновник Попков в воспоминаниях Короленко, русская литература с издавна относилась с живым художественным интересом и добродушной улыбкой понимания. С Диккенсовской теплотой, но без его истинно буржуазной сентиментальности, а скорее с реализмом широкого размаха, Тургенев, Успенский, Короленко, Горький просто считают всех этих «погибших» людей, так же как преступников, как проституток, равноправными членами человеческого общества, и создают благодаря такой широте понимания высоко художественные образы.

Русская литература проявляет особую нежность и чуткость в изображении мира детей, как, например, Толстой в «Войне и Мире» и «Анне Карениной», Достоевский в «Карамазовых», Гончаров в «Обломове», Короленко в рассказах

«В дурном обществе», «Ночью», Горький в рассказе «Трое». У Зола есть роман «Страница любви» из серии «Ругон Макаров», где в центре повествования стоит очень трогательно изображенная душевная драма брошенного ребенка. Но героиня Зола, болезненная от рождения, до крайности чувствительная девушка, сраженная в самое сердце кратким, эгоистическим любовным увлечением матери и засыхающая, как едва распустившийся цветок, – только материал для «аргументации» в экспериментальном романе Зола, только манекен, на котором автор развивает свою теорию наследственности.

Для русских писателей детская душа сама по себе ценный объект художественного интереса. Ребенок для них такая же человеческая личность, как взрослый, только более непосредственная, неиспорченная и более незащищенная против общественных влияний. Кто соблазнил одного из малых сих, лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и т. д. Современное общество, однако, «соблазняет» миллионы малых сих тем, что похищает у них самое драгоценное и незаменимое, что может быть у человека, – счастливую, беззаботную гармоничную юность.

Как жертва общественных условий, мир детей с их страданиями и радостями особенно близок сердцу русских писателей, и они говорят о нем не в том нарочитом тоне, который взрослые считают обыкновенно нужным принять, когда снисходят к общению с детьми, а в искреннем и серьез-

ном товарищеском тоне, без всякого ни на чем не основанного высокомерия старших по отношению к детям, – даже напротив того, с внутренней робостью и преклонением перед нетронутым человеческим началом, дремлющем в душе ребенка – точно перед жизненной Голгофой, открывающейся перед каждым ребенком.

Показательным симптомом духовной жизни культурных народов является то положение, которое занимает в их литературе сатира. Германия и Англия представляют в этом отношении два противоположных полюса европейской литературы. Чтобы протянуть нить от Гуттена до Гейне, приходится причислить к сатирикам и Гриммельсгаузена, что уже является натяжкой. И даже в таком случае промежуточные звенья являют зрелище ужасающего падения на протяжении трех столетий. От гениально фантастического Фишарта с его здоровой натурой, в которой ясно чувствуется дыхание Возрождения, до трезво причудливого Мошероша, и от Мошероша, который все же смело дергал за бороду сильных мира сего, до мелкого филистера Рабенера – какое падение! Рабенер возмущается «дерзостью» тех, которые осмеливаются высмеивать особ княжеского рода, духовенство и «высшие сословия», в то время как честному немецкому сатирику нужно прежде всего научиться быть «верноподданным». Произведения Рабенера знаменуют смерть немецкой сатиры: в послемартовской литературе почти совершенно нет сатиры высокого стиля. В Англии, напротив того, сатира

достигла небывалого расцвета с начала восемнадцатого века, со времени Великой Революции. Английская литература не только дала ряд таких мастеров, как Мандевиль, Свифт, Стерн, сэр Филипп Френсис, Байрон, Диккенс, в венце которых, конечно, первое место принадлежит Шекспиру за одну фигуру Фальстафа. Помимо этого сатира не осталась в Англии исключительным достоянием героев духа, она перешла в общее владение, была, так сказать, национализирована. Она сверкает в политических памфлетах, пасквилях, парламентских речах, газетных статьях, как и в поэзии. Она сделалась до такой степени насущным хлебом англичан, воздухом, которым они дышат, что часто и даже в рассказах для благовоспитанных девиц можно натолкнуться на сатирические выпады, а иногда на столь же едкие изображения английской аристократии, как у Уайльда, Шоу или Гольсуорти.

Этот расцвет сатиры объясняют часто тем, что Англия издавна страна политической свободы. Но русская литература, которую в этом отношении можно поставить рядом с английской, доказывает, что дело не столько в политическом строе данной страны, а в образе мыслей руководящих общественных кругов.

В России с самого возникновения литературы сатира завладела всеми ее областями и создала выдающиеся произведения в каждой из них. «Евгений Онегин» Пушкина, повести и эпиграммы Лермонтова, басни Крылова, комедии Островского и Гоголя, стихотворения Некрасова – его сатириче-

ская поэма «Кому на Руси жить хорошо» дает даже в тяжелом немецком переводе представление о чарующей свежести и красочности его произведений, все это великие произведения каждое в своем роде. И, наконец, в лице Салтыкова (Щедрина) русская сатира дала миру гения, который создал для сурового бичевания самодержавия и чиновничества совершенно своеобразную литературную форму, свой непере-водимый язык, и оказал глубокое влияние на духовное развитие общества.

Так – русская литература соединяет высокий моральный пафос с художественным пониманием всей гаммы человеческих чувств, и она создала среди большой тюрьмы, среди материальной бедности царизма собственное царство духовной свободы и пышной культуры, в котором легко дышать и приобщаться к интересам и духовным течениям культурного мира. Благодаря этому она сделалась в России общественной силой, воспитывала поколения за поколениями и смогла стать для лучших из своей среды, как для Короленко, истинной родиной духа.

2

Короленко – подлинно поэтическая натура. Вокруг его колыбели клубились густые туманы суеверия. Не развращенного суеверия современного столичного декаданса, каким оно неискоренимо проявляется, например, в Берлине в спиритизме, в вере в гадалок и лечении болезней молитвами, – а наивного суеверия народной поэзии, чистого и прямо ароматного, как свободный ветер украинской степи и миллионы диких ирисов, как тысячелистник и шалфей, которые растут там в траве, достигающей высоты человеческого роста. В жуткой атмосфере людской и детской в родительском доме Короленко ясно чувствуется, что колыбель его стояла в непосредственной близости волшебного мира Гоголевских творений с его земными духами, ведьмами и языческим святочным колдовством.

И в «Гарном Луге» все живо напоминает мир Гоголевских образов, миргородских обывателей – Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, только еще с сильной польской примесью, так как Волынь находится по соседству с Литвой, родиной прежней польской шляхты и ее бессмертного певца Адама Мицкевича.

Короленко по происхождению поляк, украинец и русский, и уже в детстве он испытал напор трех «национализмов», из которых каждый требовал от него, чтобы он «кого-нибудь

ненавидел и преследовал». Но все такие искушения рано стусевались при здоровом влечении мальчика к общечеловеческому в людях.

Польские традиции обведали его лишь последним умирающим дыханием исторически превзойденного прошлого. От украинского национализма его отталкивала смесь маскарадного шутовства и реакционной романтики. А бесчеловечность официальной русской политики по отношению к угнетенным полякам и к униатам на Украине в достаточной степени уберегла нежную душу мальчика от русского шовинизма; он чувствовал всегда инстинктивное влечение к слабым и угнетенным, а не к сильным и торжествующим. Чуждаясь распри трех национальностей, происходившей на его родине, в Волыни, он искал убежища в гуманности.

В 17 лет, лишившись отца и не имея никаких средств, кроме собственного заработка, Короленко уехал в Петербург и ушел с головой в водоворот студенческой жизни и политических брожений. После трех лет занятий в Технологическом институте, он перешел в Сельскохозяйственную академию в Москве. Но два года спустя его жизненные планы перевернуло, как у многих людей его поколения, вмешательство «Высшей власти». Короленко был арестован за активное участие в студенческой демонстрации, исключен из академии, и сослан на Север, в Вологду, и потом только ему разрешено было переехать на жительство в Кронштадт, где он состоял под полицейским надзором.

Несколько лет спустя Короленко вернулся в Петербург и стал снова строить жизненные планы; он научился сапожно-му мастерству, чтобы, согласно своим идеалам, стать ближе к народным слоям и вместе с тем способствовать разностороннему развитию собственной индивидуальности. Но в 1879 г. его снова арестовали и сослали на этот раз дальше на северо-восток, в Вятскую губернию, в совершенно глухую, далекую от мира дыру.

Но Короленко не пришел в уныние. Он кое-как устроился на новом месте изгнания и усердно занимался своим недавно изученным ремеслом, зарабатывая им свое пропитание. Но недолго пришлось ему спокойно пожить на месте. Его неожиданно, без всякого видимого основания, перевели в Западную Сибирь, оттуда снова в Пермь, а из Перми на крайний восток Сибири.

И это, однако, не было еще концом странствований Короленко. В 1881 году, после убийства Александра II, на престол вступил новый царь, Александр III. Короленко, который был тогда железнодорожным служащим, принес, вместе со всем служебным персоналом, обычную присягу новому правительству. Но это признано было недостаточным. От него потребовали, чтобы он присягнул еще раз как частное лицо, как «политический ссыльный». Короленко, как и остальные ссыльные, отказался и был сослан в ледяные пустыни Якутской области.

Это была несомненно «пустая демонстрация», хотя Коро-

ленко менее всего замышлял устроить демонстрацию. Присягал ли одинокий ссыльный, где-то в Сибирской тайге, по близости от полярного круга, или не присягал в верности царскому престолу, это не могло оказать ни малейшего непосредственного влияния на существовавшие условия жизни. Но в царской России часто прибегали к такого рода «пустым» демонстрациям. Впрочем, не в одной только России. Разве упрямое *e pur si tuove* Галилео-Галилея не такая же пустая демонстрация, которая не привела ни к каким практическим результатам, кроме того, что навлекла месть святой инквизиции на заточенного в тюрьму, преданного пыткам ученого? И все же для тысячи людей, которые имеют лишь самое туманное представление об учении Коперника, имя Галилея навсегда связано с его красивым жестом. И при этом совершенно не важно, что жеста этого в действительности не было, что Галилей не произносил этих слов. Именно легенды, которыми человечество любит украшать своих героев, доказывают, как такие «пустые демонстрации», несмотря на совершенную невесомость их практической пользы, необходимы людям в совокупности их духовного обихода.

За свой отказ от присяги Короленко поплатился четырьмя годами жизни в жалком селении полудиких кочевников, на берегу Алдана, притока Лены, среди девственных лесов Сибири, при зимней температуре в 40–45° холода. Но все лишения, одиночество, мрачная природа тайги, жалкая об-

становка жизни, отрезанность от культурного мира не сломили все же духовную выносливость и солнечный темперамент Короленко. Он принимал близкое участие в жалкой жизни якутов, в их интересах, усердно пахал землю, косил сено и доил коров, а зимой шил сапоги туземцам или же писал иконы... Об этом времени, когда он был «заживо погребенным», – по выражению Джорджа Кеннана, – о жизни якутских ссыльных Короленко рассказывал впоследствии в своих очерках без жалоб, без всякой горечи, даже с юмором, в описаниях, преисполненных нежнейшей поэтической красоты. Его художественное дарование созревало за это время, и он собрал богатую жатву впечатлений природы и психологических наблюдений. В 1885 г., вернувшись, наконец, из ссылки, которая стоила ему, с коротким перерывом, почти десятка лет жизни, Короленко напечатал маленький рассказ, который сразу поставил его в ряд мастеров русской литературы: «Сон Макара». В свинцовой атмосфере 80-х годов этот первый, совершенно зрелый плод молодого таланта произвел впечатление первой песни жаворонка в серый день в феврале. За первым последовали в быстрой смене дальнейшие очерки и рассказы: «Лес шумит», «За иконой», «Ночью», «Йом-Кипур», «Река играет» и много других. Во всех них сказываются те же основные черты творчества Короленки: чарующие описания природы и настроений, обаятельная свежая непосредственность и теплое участие к «униженным и оскорбленным».

Эта громко звучащая нота общественности не включает в себе никакого учительства, никакого апостольства, как, например, у Толстого. Это у Короленко просто часть его любви к жизни и людям, его естественной доброты, его солнечного темперамента. При всей широте его взглядов и всеобъемлющих чувств, при всем отрицательном отношении к шовинизму, Короленко насквозь русский художник, быть может наиболее национальный среди великих призраков в русской литературе. Он не только любит свою страну; он влюблен в Россию, как юноша, влюблен в ее природу, в интимную красоту каждой местности гигантской империи, в каждую сонную речку и каждую тихую, окаймленную лесом долину, влюблен в простой народ, его типы, его наивную веру, его самобытный юмор и глубокую вдумчивость. Не в городе, не в удобном железнодорожном купэ, не в шуме и суете современной культурной жизни, а только на большой дороге Короленко чувствовал себя в своей стихии. Итти в даль с дорожным мешком за спиной и с самодельной палкой в руке, «в легком поте скитаний» отдаваться случаю, то прикнуться к кучке благочестивых странников, идущих на богомолье к чудотворной иконе, то, расположившись на берегу реки, вести беседу с рыбаками у ночного костра, то, сидя на сонно ползущем, маленьком плохом пароходике, вмешаться в пеструю толпу крестьян, лесоторговцев, солдат, нищих, и слушать их разговоры – вот образ жизни, который ему больше всего по душе. И во время таких странствований он

не только наблюдает все со стороны, как утонченный, холерный аристократ Тургенев. Короленко умеет без всякого труда сходиться с первых же слов с людьми из народа, попадать им в тон и нырять в толпу.

Таким способом он исходил пешком почти всю Россию вдоль и поперек. Тут он впитывал на каждом шагу чары природы, наивную поэзию первобытности, которая вызывала улыбку и у Гоголя. Тут он с восхищением наблюдал стихийное фаталистическое спокойствие русского народа: в мирное время оно кажется непоколебимым и неисчерпанным, а в минуту бури преобразается в геройство, величие и железную силу подобно очаровательной реке в рассказе Короленко, которая при обыкновенном уровне воды плещется мягко и смиренно, а в половодье вздымается, превращаясь в гордый, нетерпеливый, величественно грозный поток. Тут, в непосредственном непринужденном общении с природой и простым народом Короленко заполнял свой дневник записями свежих красочных впечатлений; потом они почти без перемены, еще покрытые сверкающими каплями росы, обвешанные запахом земли, составляли содержание его очерков и повестей.

Очень своеобразным произведением творчества Короленки является его «Слепой музыкант». Это как будто чисто психологический этюд, и тема его, строго говоря, не художественная. Прирожденный физический недостаток может, конечно, стать в жизни источником многих столкновений, но

само по себе такое физическое несчастье стоит за пределами человеческой воли и действий, за пределами вины и искупления, кроме разве тех случаев, когда наследственность превращает вину родителей в проклятие детей. Поэтому литература, так же как пластические искусства, останавливается на изображении физических недостатков лишь эпизодически, или с явно сатирическим замыслом, чтобы представить еще более презренным нравственное уродство художественного образа, как, например, в изображении Терсита у Гомера (а также заикающегося судьи в комедиях Мольера и Бомарше), или с примесью добродушного юмора, как на жанровых картинках голландского Ренессанса, например, на этюде уродов Корнелиса Дюсара.

У Короленко тема эта разработана совершенно иначе: душевная драма слепорожденного, которого терзает непреодолимое и безысходное влечение к свету, составляет центр повести, и разрешение, к которому приходит Короленко, неожиданно возвращает нас все к той же первооснове его творчества, как и всей русской литературы. Его слепой музыкант нравственно перерождается; он становится духовно «зрячим» благодаря тому, что преодолевает эгоизм собственного безысходного страдания и делается выразителем физического и душевного недуга всех слепых. Вершину повествования составляет описание первого публичного благотворительного концерта слепого: он неожиданно играет на своем инструменте вариацию на известную мелодию русских

слепых гуляров и дает блестящую импровизацию на эту тему; жадно внимающая публика потрясена приливом горячей жалости. Общественный элемент, сочувствие к страданиям масс становится спасением и прозрением для отдельного человека, как и для совокупности общества.

3

Благодаря полемическому характеру русской литературы границы между беллетристикой и публицистикой проводятся в ней не так строго, как в настоящее время на Западе. В России один род очень часто переходит в другой, как это было и в Германии в то время, когда Лессинг указывал пути буржуазии и пользовался попеременно театральной критикой, драмой, философски богословской полемикой, эстетическими трактатами для того, чтобы пробить путь новому миросозерцанию. Разница только в том, что Лессинг – и в этом был трагизм его судьбы – оставался всю жизнь одиноким и непонятым, а в России целый ряд выдающихся талантов вспахивал попеременно самые разнообразные области литературы и в качестве поборников свободного миросозерцания. Александр Герцен соединил крупный талант романиста с гениальным публицистическим дарованием и будил из-за границы своим «Колоколом» в 50-х и 60-х годах всю мыслящую Россию. Старый гегельянец Чернышевский боролся за свои идеи с одинаковой свежестью и пылом в области публицистической полемики, философского трактата, политико-экономических очерков и тенденциозного романа. Литературная критика, как выдающееся средство борьбы против реакции, куда бы она ни укрылась, а также пропаганды прогрессивных идей, имела после Белинского и Добро-

любова блестящего представителя в Михайловском; он руководил общественным мнением в течение целых десятилетий и имел большое влияние на духовное развитие Короленко. Толстой пользовался для проповеди своих идей, кроме романов, также повестями и драмами, нравоучительными сказками и полемическими брошюрами. Короленко с своей стороны также часто менял кисть и палитру художника на клинок журналиста и высказывался по злободневным вопросам общественной жизни, принимая непосредственное участие в повседневной идейной борьбе.

К постоянным явлениям в старой царской России принадлежал хронический голод – так же, как пьянство, неграмотность и дефицит в бюджете. В результате своеобразно обставленной «крестьянской реформы» при отмене крепостного права, а также непосильного бремени податей и крайней отсталости сельско-хозяйственной техники, в течение всех восьмидесятих годов крестьяне через каждые несколько лет страдали от неурожая. 1891 год был самым тяжелым из всех: в 20 губерниях наступил после необычайной засухи полный неурожай и голод в истинно ветхозаветных размерах.

В официальной анкете о положении урожая, среди более семисот ответов из разных областей, получено было следующее описание, сделанное скромным священником одной из центральных губерний:

«Уже три года как подкрадывается неурожай, и одна бе-

да за другой сваливается на крестьян. Напали гусеницы, саранча поедает хлеб, червь его точит, жуки уничтожают последки. Жатва погибла на поле, посевы засохли в земле, амбары стоят пустые, хлеб весь вышел. Скот стонет и падает, рогатый скот еле плетется, а овцы замороженные, для них нет корма... Миллионы деревьев, десятки тысяч изб погибли в огне. Огненная стена и столбы дыма окружили нас со всех сторон... Как сказано у пророка Софонии: Все я сотру с лица земли, сказал Господь, людей, скот и диких зверей, птиц и рыб. Сколько погибло из пернатого царства при лесных пожарах, сколько погибло рыбы в обмелевших водах... Куница исчезла из наших лесов, погибли белки. Замкнулось небо и стало, как медь; не падает больше росы, всюду сушь и огонь. Засохли плодовые деревья, травы и цветы, не зреет больше малины, не видать кругом ни черники, ни ежевики, ни брусники; высохли все торфяные болота и топи... Где ты, свежая лесная зелень, где сладостный воздух, где аромат сосен, приносивший исцеление болящим?! Все погибло».

Как опытный «верноподданный», автор письма покорнейше просит «не привлекать его к ответственности» за вышеприведенное описание.

Опасение простодушного сельского попа не было лишено основания: могущественная дворянская фронда заявила – как ни невероятно это звучит, – что весь голод лишь злонамеренная выдумка «подстрекателей» и нет надобности ни в какой помощи.

Тогда загорелась по всей линии борьба между реакционным лагерем и прогрессивной интеллигенцией. Русское общество всколыхнулось, литература забила тревогу. Стали организовывать помощь в чрезвычайно больших размерах. Врачи, писатели, студенты и студентки, учителя, интеллигентные женщины направлялись сотнями в деревню, чтобы устраивать там питательные пункты, раздавать семена для посева, организовывать закупку хлеба по дешевым ценам, чтобы ухаживать за больными. Но все это было не так просто наладить. Обнаружился весь хаос и закоренелое неустройство страны, управляемой чиновниками и военщиной, где каждая губерния, каждый уезд – совершенно отдельная сатрапия. Соперничество, междуведомственные споры, несогласия между губернскими и уездными властями, между правительственными учреждениями и земским самоуправлением, между деревенскими писцами и крестьянской массой, и вдобавок к этому хаос понятий, ожиданий и требований самих крестьян, их недоверие к горожанам, вражда между богатой сельской буржуазией и нищей массой – все это внезапно воздвигло перед интеллигенцией с ее готовностью отдать свои силы тысячи препон и препятствий, которые приводили ее в отчаяние. Все бесчисленные местные злоупотребления и притеснения, которым крестьянство до того, в обыкновенное время, подвергалось втихомолку ежедневно, все нелепости и противоречия бюрократизма выступали теперь на яркий свет, и борьба против голода, т.-е. по существу

дело простой благотворительности, сама собой превратилась в борьбу против общественного и политического строя самодержавия.

Короленко, как и Толстой, стал в этом общественном деле во главе русской прогрессивной интеллигенции и отдал ему не только свое перо, но и всего себя. Весной 1892 г. он отправился в один из уездов Нижегородской губернии, в самое осиное гнездо реакционной дворянской фронды, чтобы организовать там народное питание в голодающих деревнях. Совершенно незнакомый с местной средой, Короленко вскоре проник во все подробности тамошних условий и начал неуклонную борьбу с тысячью противодействий, возникавших на его пути. Он пробыл в уезде четыре месяца, странствуя постоянно из одной деревни в другую, от одной инстанции к другой, а по ночам сидел где-нибудь в крестьянской избе и при тусклом свете лампочки заполнял свой дневник и в то же время вел в столичных газетах бодрую борьбу, вынося удар за ударом. Его дневник, в котором он изображает в ужасных картинах всю Голгофу русской деревни – просящие милостыню дети, онемевшие, точно окаменевшие матери, плачущие старики, болезни и безнадежность, – сделался вечным памятником царского строя.

Вслед за голодом явился по его пятам второй апокалиптический всадник: зараза. В 1893 г. пришла из Персии по низовьям Волги холера и потянулась вверх по течению; смертоносное дыхание ее пронеслось над изнуренными, впавши-

ми в полную апатию деревнями. Поведение царских властей при появлении этого нового врага было похоже на анекдот, хотя было горькой истиной: бакинский губернатор убежал от заразы в горы, саратовский же спрятался на пароходе, когда начались волнения в народе. Астраханский губернатор побил рекорд: он выслал в Каспий дозорные корабли, которые закрыли вход в Волгу всем судам, идущим из Персии и с Кавказа, как подозрительным по холере, но не послал при этом заключенным в карантине ни хлеба, ни воды для питья. Таким путем заперли в карантине более 400 пароходов и барок, и 100 000 человек, здоровых и больных, обречены были вместе на гибель от чумы, эпидемии голода и жажды. Наконец, в Астрахань пришло вниз по Волге судно вестником попечений начальства. Взоры погибающих обратились с надеждой на спасительное судно. Оно привезло гробы...

Тогда разразилась буря народного гнева. Мигом разнеслась вверх по Волге весть о запертых в Каспии судах и о муках заключенных в карантине. Вслед за этим раздался крик отчаяния: начальство нарочно распространяет заразу, чтобы известить народ... Первой жертвой «холерных бунтов» пали санитары, интеллигенты, мужчины и женщины, которые самоотверженно, геройски поспешили приехать в деревни, чтобы устроить бараки, ухаживать за больными, принимать меры для спасения здоровых. Бараки погибли в огне, врачей и сестер милосердия убили. За этим последовали обычные карательные экспедиции, кровопролития, военные су-

ды и казни. В одном Саратове произнесено было двадцать смертных приговоров... Дивная волжская местность превратилась снова в Дантовский ад.

Нужен был чей-нибудь высокий нравственный авторитет и глубокое понимание нужд и психологии крестьян, чтобы внести свет и смысл в этот кровавый хаос, и для этой роли никто в России, кроме Толстого, не был более пригоден, чем Короленко. Он и был один из первых на посту и пригвоздил к позорному столбу истинных виновников бунта, администрацию самодержавного строя, и снова завещал общественности потрясающий памятник одинаковой исторической и художественной ценности: статью «Карантин на девятифуттовом рейде» («В холерный год»).

В старой России давно уж отменена была смертная казнь за уголовные преступления. В обычное время казнь была отличием, предоставляемым только политическим преступникам. Со времени оживления терроризма в конце 70-х годов смертная казнь для политических была в особенности в ходу, и после убийства Александра II царское правительство не остановилось и перед тем, чтобы приговорить к повешению женщин: знаменитую Софию Перовскую и Гесю Гельфман. Но во всяком случае и тогда и еще долгое время спустя казни были исключительным явлением, и русское общество приходило от них в глубокий ужас. Когда в 80-х годах казнили четырех солдат «карательного батальона» за убийство фельдфебеля, который их систематически мучил и бил,

то даже в подавленном, покорном настроении тех лет почувствовалось как бы содрогание общественного мнения, охваченного безмолвным ужасом.

Все это изменилось со времени революции 1905 года. Когда власть самодержавия снова взяла верх в 1907 году, началась кровавая месть. Военные суды работали день и ночь, виселицы никогда не пустовали. Вешали сотнями участников всяческих покушений и вооруженных восстаний, в особенности так называемых «экспроприаторов», большей частью полувзрослых юношей, при чем это проделывали часто, едва соблюдая формальности: казнь поручали «неопытным» палачам, вешали плохими веревками, на фантастичным образом импровизированных виселицах. Контрреволюция праздновала оргии...

Тогда Короленко выступил с громким протестом против торжествующей реакции. Серия его статей, вышедшая в 1909 г. отдельной брошюрой под заглавием «Бытовое явление», отмечена всеми характерными чертами его писательской манеры. Совершенно так же, как в статьях о голоде и о холерном годе, тут нет никаких фраз, никакого показного пафоса, никакой сентиментальности, а только величайшая простота и обстоятельность. Короленко дает беспритязательную сводку фактического материала, писем казненных, наблюдений их соседей по камере. Это простое собрание материалов обнаруживает, однако, такое глубокое проникновение во все подробности человеческой муки, во все ужасы ис-

терзанного человеческого сердца и все закоулки преступления общества, каким является каждый смертный приговор, все очерки проникнуты такой сердечностью и высотой нравственного чувства, что маленькая брошюра произвела впечатление потрясающего обвинения.

Толстой, которому было тогда восемьдесят два года, написал Короленко следующее под свежим впечатлением этого ряда статей:

«Мне только что прочли вслух вашу брошюру о смертной казни, и, как я ни старался, я не мог удержаться от слез, от рыданий. Я не нахожу слов, чтобы выразить вам мою благодарность и любовь за это превосходное по выражению, мыслям и чувству произведение.

Его нужно снова издать и распространить в миллионах экземпляров. Никакие думские речи, никакие статьи, никакие драмы и романы не в состоянии произвести и тысячную долю благотворного влияния, которое исходит из этого произведения.

Оно должно так действовать, потому что возбуждает такое сочувствие к тому, что переживали и еще переживают те жертвы человеческих заблуждений, что им невольно прощаешь, что бы они ни совершили, между тем как, при всем желании, невозможно простить виновного в этих ужасах. Наряду с этим чувством ваше произведение будит также удивление перед сознательным ослеплением людей, совершающих эти ужасы, перед бессмысленностью их действий, ибо

ясно, что все эти глупые жестокости, как вы это превосходно показываете, достигают лишь противоположного своей цели. Помимо всех этих чувств, ваша брошюра вызывает еще другое чувство, которое всецело преисполнило меня: чувство жалости не только к убитым, но и ко всем этим обманутым, простым, использованным во зло людям: тюремным служащим, надзирателям, палачам, солдатам, которые выполняют все эти гнусности, не зная, что творят.

Отрадно только одно: что такое произведение, как ваше, объединит многих, очень многих живых, неиспорченных людей в стремлении к общему идеалу добра и истины, идеалу, который, что бы ни проделывали его враги, светится все ярче и ярче»...

Лет около пятнадцати тому назад одна немецкая газета устроила опрос по вопросу о смертной казни среди самых выдающихся представителей искусства и науки. Самые громкие имена в литературе и юриспруденции, цвет интеллигенции в стране мыслителей и поэтов горячо высказался за смертную казнь. Для вдумчивых наблюдателей это был один из признаков, подготовляющих ко многому, что мы пережили в Германии во время мировой войны.

В 90-х годах в России разыгрался знаменитый процесс «мултанских вотяков». Семерых вотяков, крестьян деревни Большой Мултан в Вятской губернии, полуязычников, полудикарей, обвинили в ритуальном убийстве и приговорили к каторге.

Таково устройство современной цивилизации, что народные массы, когда им становится особенно тяжело жить по той или другой причине, находят себе от времени до времени козла отпущения в людях другой национальности, религии, другого цвета кожи, изливают на них свое недовольство и потом с облегченным чувством возвращаются к благонравному выполнению обычного дела. Само собой разумеется, что к роли козла отпущения пригодны лишь слабые, исторически угнетенные или отсталые в общественном смысле народности, которые можно продолжать угнетать самым безнаказанным образом. В Соединенных Штатах Северной Америки это негры; в западной Европе такая роль выпадает иногда на долю итальянцев.

Лет двадцать тому назад в одном из пролетарских кварталов Цюриха устроен был, по поводу убийства одного ребенка, маленький итальянский погром. Во Франции название одной местности *Aigues mortes* связано с памятным волнением рабочей толпы; обозленная понижением заработной платы по вине слишком непритязательных странствующих итальянских рабочих, она вздумала привить им высшие культурные потребности, действуя в стиле предка, *Homo Houseri* из Додони. Когда началась мировая война, неандертальские традиции получили непредвиденное распространение. «Великая эпоха» ознаменовалась в стране мыслителей и поэтов неожиданным массовым возвратом к инстинктам века мамонтов, пещерных медведей и обросшего шерстью носорога.

Но Россия во всяком случае не была еще настоящим культурным государством, и угнетение чуждых народностей было там, как всякого рода проявление общественного духа, не выражением психологии народа, а монополией правительства. Всякие национальные преследования обыкновенно организовывало в подходящие моменты само начальство через посредство государственных органов и при помощи правительственной водки.

Мултанский ритуальный процесс был лишь небольшим эпизодом второстепенного значения в царской правительственной политике, которая захотела дать некоторый выход угнетенному настроению голодных и порабощенных масс. Но русская интеллигенция – и Короленко стал снова во главе ее в этом деле – заступилась за полудиких вотяков. Короленко отдался делу со всей свойственной ему энергией и распутал сеть недоразумений и подтасовок с удивительной деловитостью, терпением и добросовестностью, с безошибочным инстинктом правды, напоминающим Жореса в деле Дрейфуса. Он мобилизовал прессу, общественное мнение, добился пересмотра дела, лично принял участие в судебной защите и достиг своей цели – оправдательного приговора вотякам.

Самым излюбленным объектом для политики громоотводов на востоке было всегда еврейское население, и еще вопрос, совершенно ли изжита евреями эта благодатная роль. Во всяком случае есть нечто стильное в том обстоятельстве, что последний большой общественный скандал, на котором

самодержавие распрощалось с миром, так сказать дело ожерелья русского ancien regime'a, был процесс о еврейском ритуальном убийстве: знаменитый процесс Бейлиса в 1913 году. В качестве запоздалого пережитка мрачного контрреволюционного времени 1907–1911 годов и, вместе с тем, как символический предвестник мировой войны, дело о ритуальном убийстве сделалось сразу средоточием общественного интереса. Вся прогрессивная интеллигенция России объявила дело еврея Бейлиса своим собственным, и процесс превратился в генеральное сражение между либеральным и реакционным лагерями в России. В дело вступились самые опытные юристы и лучшие журналисты, и после всего вышесказанного нечего и прибавлять, что Короленко был вместе с ними во главе дела. Как раз перед поднятием занавеса мировой войны реакция потерпела в России оглушительное нравственное поражение: под напором оппозиционной интеллигенции обвинение в ритуальном убийстве пало, обнаружив вместе с тем Гиппократовы черты царистского строя, внутренне уже прогнившего и мертвого, ожидавшего лишь последний смертельный удар от освободительного движения. Мировая война дала этому строю лишь последнюю короткую отсрочку. Короленко выступал не только всегда, когда нужна была общественная помощь и нравственный протест против всякой несправедливости. В 80-х годах, после покушения на Александра II, в России наступила пора окаменелой безнадежности. Либеральные реформы 60-х годов в об-

ласти суда и местного самоуправления подверглись повсеместно реакционным изменениям. Кладбищенская тишина царила под свинцовыми крышами правления Александра III. Русское общество пало духом как вследствие крушения всяких надежд на мирные реформы, так и ввиду кажущейся безрезультатности революционного движения. Всеми овладела подавленная примиренность с существующим.

В этой атмосфере апатии и уныния среди русской интеллигенции возникли метафизически-мистические течения, представленные философской школой Соловьева. Ясно обозначалось влияние Ницше, в художественной литературе царил безнадежный пессимизм повестей Гаршина и стихов Надсона. Более всего этому настроению соответствовал мистицизм Достоевского, каким он сказывается в Карамазовых, и в особенности аскетическое учение Толстого. Учение о «непротивлении злу», осуждение всякого насилия в борьбе с господствующей реакцией, чему противопоставлялась только проповедь «внутреннего очищения» личности, – все эти теории общественного бездействия представляли в настроениях 80-х годов серьезную опасность для русской интеллигенции, тем более, что имелось такое мощное средство воздействия на умы, как перо и нравственный авторитет Льва Толстого.

Михайловский, вождь «народничества», вступил тогда в ожесточенную полемику против Толстого. Выступил также и Короленко. Он, нежный поэт, запоминавший на всю жизнь

какое-нибудь переживание детских лет среди шумящего леса, или как он проходил мальчиком в темный вечер через пустынное поле, или какой-нибудь вид природы во всех подробностях освещения и настроения, он, в сущности, чуждавшийся всякой партийной полемики, решительно возвысил теперь свой голос и стал проповедовать ненависть и самое решительное сопротивление. В ответ на толстовские легенды, притчи и рассказы в евангельском стиле Короленко написал «Сказание о Флоре». В Иудее правили римляне огнем и мечем; они грабили страну и высасывали соки из населения. Народ стонал и сгибался под ненавистным ярмом. Тронутый страданиями своего народа, мудрый Менахем, сын Иегуды, взывает к героическим заветам предков и начинает проповедовать восстание против римлян, «священную войну». Против него выступает секта кротких ессеев, которые, подобно Толстому, отрицают всякое насилие и видят спасение только во внутреннем очищении, отрешении от мира и в аскетизме. «Твоим призывом к борьбе ты сеешь беду, – кричат они Менахему. – Когда осаждают город и город сопротивляется, то осаждающие предлагают жизнь кротким, а мятежных предают смерти. Мы проповедуем народу кротость, чтобы он мог избегнуть гибели... Воду не сушат водой, но огнем, и огонь не гасят пламенем, но водой, так и силу не побеждают силой, которая есть зло».

На это Менахем, сын Иегуды, отвечает непоколебимый: «Сила руки не зло и не добро, а сила; зло же или добро в

ее применении. Сила руки – зло, когда она подымается для грабежа и обиды слабейшего; когда же она поднята для труда и защиты ближнего – она добро... Огонь не тушат огнем, а воду не заливают водой. Это правда. Но камень дробят камнем, сталь отражают сталью, а силу силой. И еще: насилие римлян – огонь, а смирение наше – дерево. Не остановится, пока не проглотит всего».

Легенда заканчивается молитвой Гамалиота:

«О, Адонаи, Адонаи... Пусть никогда не забудем мы, доколе живы, завета борьбы за правду. Пусть никогда не скажем: лучше спасемся сами, оставив без защиты слабейших... И я верю, о, Адонаи, что на земле наступит Твое царство!.. Исчезнет насилие, народы сойдутся на праздник братства, и никогда уже не потечет кровь человека от руки человека».

Точно свежим дыханием ветра повеяло от этих мужественных слов среди удушливого тумана бездействия и мистики. Короленко внес свою долю в дело подготовки путей новой исторической «силе» в России, – той, которая вскоре затем подняла свою благотворную руку, руку труда и освободительной борьбы.

Недавно появились в немецком переводе детские воспоминания Максима Горького и во многих отношениях интересно сравнить их с воспоминаниями Короленко в настоящей книге.

В художественном отношении эти два писателя до некоторой степени антиподы. Короленко, как и столь высоко чтимый им Тургенев, чистый лирик, человек нежной души, тонких настроений. Горький – в этом отношении он следует традиции Достоевского – человек определенно драматического мирозерцания, сосредоточенной энергии, действия. У Короленко открыты глаза на все ужасы общественной жизни, но, совершенно так же как у Тургенева, в его художественном воспроизведении даже самое ужасное отодвигается в некоторую смягчающую перспективу настроений, окутано нежным благоуханием поэтического восприятия, обаянием красот природы. Для Горького, как и для Достоевского, даже трезвые будни полны страшных призраков, мучительных видений, которые он прямо ставит перед читателем с беспощадной резкостью, как бы без воздуха и перспективы, почти с полным пренебрежением к изображению природы.

Если драма, по меткому выражению Ульрици, является поэзией действия, то драматический элемент в романах Достоевского совершенно неоспорим. Они так переполне-

ны действием, событиями, напряженностью интересов, что нагромождающееся, ошеломительное обилие происшествий грозит задавить эпический элемент романа, разбить каждую минуту его рамки. В большинстве случаев прочтя с захватывающим интересом, едва переводя дух, один или два толстых тома, трудно постичь, что в них изображены происшествия, происходившие на протяжении двух – трех дней. Столь же характерно для драматической стихии в творчестве Достоевского, что основной узел действия всегда уже завязан в самом начале его романов, столкновения уже налицо, уже созрели для взрыва, и медленная их подготовка не представлена в действии, а выявляется из обратного воздействия фабулы на читателей. Горький избирает, даже для изображения воплощенной неспособности к какому-либо действию, банкротство человеческой воли – как, например, в «На дне», в «Мещанах» – драматическую форму и умеет вдохнуть проблеск жизни в бледные лица этих своих героев.

Короленко и Горький представляют собою не только две писательские индивидуальности, но и два поколения русской литературы и идеологии русского освободительного движения. Для Короленко главный интерес сосредоточен еще на крестьянстве. У Горького, восторженного последователя немецкого научного социализма, на первом месте стоит городской пролетарий и его тень, босяк. Естественной рамкой в рассказах Короленко является природа, а у Горького мастерская, подвалы, ночлежка.

Ключ к пониманию личности этих двух писателей дает глубокое различие их биографий. Короленко, выросший в уютной буржуазной обстановке, знал в детстве нормальное чувство непоколебимости, устойчивости мира и всего в мире, чувство, свойственное всем счастливым детям. Горький принадлежит своими корнями отчасти к мелко-буржуазной среде, отчасти же к босяцкой, к люмпен-пролетариату. Он вырос в атмосфере затаенных ужасов в духе Достоевского, в атмосфере преступлений и стихийных взрывов человеческих страстей, и уже ребенком отбивался как затравленный волчонок и показывал судьбе свои острые зубы. Это детство, полное лишений, обид, притеснений, среди постоянной неуверенности в завтрашнем дне, среди шатания, в ближайшем соседстве с подонками общества, заключает в себе все типичные черты, определяющие судьбу современного пролетариата. И только тот, кто прочел «Детство» Горького, может оценить всю поразительность его подъема из таких общественных низов на солнечную вершину современного образования, гениального художественного творчества и научно обоснованного мирозерцания. И в этом отношении личная судьба Горького символична для русского пролетариата, как класса: в изумительно короткий срок двух десятилетий он поднялся, пройдя через суровую школу борьбы, из грубости и неотесанности крайне некультурной царской империи до способности к историческому выступлению. Это явление совершенно, конечно, непостижимое для культур-

ных мещан, принимающих хорошее освещение улиц, аккуратность железнодорожного движения и опрятные стоячие воротники за культуру, а неумолчный стук парламентских мельниц за политическую свободу.

Большое обаяние поэтичности Короленко определяет вместе с тем и пределы ее. Короленко коренится всецело в настоящем, в непосредственном переживании, в живом впечатлении. Его рассказы – точно свежий сорванный букет полевых цветов; время губительно действует на их радостную красочность, их чарующее благоухание. Той России, которую изображает Короленко, уже нет; это Россия вчерашнего дня. Нежное, поэтически задумчивое настроение, обвевающее ее жизнь и людей, прошло. Оно уже десять – пятнадцать лет как сменилось трагическим, удушливо грозным настроением Горького и его товарищей, звонких буревестников революции. В нем, как в Толстом, общественный борец, гражданин высокого духа победил в конце художника и мечтателя. Когда Толстой начал в восьмидесятих годах проповедовать свое этическое евангелие в новой литературной форме, в виде маленьких народных рассказов, Тургенев обратился с умоляющим письмом к мудрецу из Ясной Поляны, убеждая его во имя родины вернуться к чистому искусству. И друзья Короленко тоже жалели о его нежной поэзии, когда он пламенно отдался публицистике. Но дух русской литературы, высокое общественное чувство ответственности проявилось у этого благодатного художника сильнее, чем даже его лю-

бовь к природе, к свободной скитальческой жизни, к поэтическому творчеству. Захваченный волной близившейся революционной бури, он с конца 90-х годов все больше отходил от художественного творчества и выступал лишь, сверкая клинком, как борец за свободу, как духовный вождь оппозиционного движения русской интеллигенции. «История моего современника», которая печаталась в 1906–1910 годах в издававшемся Короленко журнале «Русское Богатство» – последний плод его творчества, представляющий еще наполовину художественное творчество и всецело правду, как все, что относится к этой жизни...